

Да что, конечно, на то и лето, на то и июнь, чтобы дождь внезапно и косо, жгуче, длинными ледяными спицрутенами пошел сечь направо и налево. Прежний люд был похитрее нынешнего, особенно городского, беспечного – похитрее и поприноровистее к обстоятельствам. Прежний люд выстрадал себе норму круглое лето ходить, как сам говорил, в майке и тюфайке. Солнышком пригрело – прежний люд тюфаечку скинул. Холодом потянуло – прежний люд тюфаечку накинул. Простой был прежний люд и с природой сотрудничал. Но tempora mutantur, то есть времена сменились, и нравы сменились, а природа не сменилась.

И хлынуло жгучим ледяным дождем, и рвануло ветром, и с тополей посыпались крапчатые, еще не набухшие коробочками с ватой сережки вместе с ветками, кстати. Нынешний беспечно гуляющий люд прыснул прятаться, совсем как во время расстрела реакцией мирной июльской демонстрации в Петрограде семнадцатого года – была такая фотография в учебниках истории. Иван и Серега, два немолодых человека, влетели в ближайшее кафе, где неожиданно застали двух своих приятелей – Костю и Виктора.

– Наконец и лето наступило! – отряхиваясь от воды и тополиных сережек, вместе с приветствием весело сказал Иван.

– И это очень хорошо, можно сказать, даже удовлетворительно! – прибавил свое мнение Серега.

– Извращенцы! Вы еще продекламируйте: «Буря! Пусть сильнее грянет буря!» – скрывая радость от встречи и предлагая декламировать строчки великого пролетарского писателя Максима Горького, якобы заклеил их Костя.

А Виктор ничего не сказал, только деликатно улыбнулся и деликатно протер очки в большой и простой оправе.

А дальше пошло все просто. Сели за стол, попросили водку, закуску и горячую уху. Вернее, уху посоветовала взять официантка, довольно привлекательная женщина лет тридцати пяти. Ухи особо никто не хотел – какая уха в городе! Но официантка сказала, что повар

сам заядлый рыбак, в ухе толк понимает, можно сказать, мастер в этом деле, и все махнули рукой: за окном ледяной ливень, мрак, хруст ломающихся тополиных веток – а несите уху!

Официантка пошла от стола. Иван посмотрел ей вслед, все-таки она была довольно привлекательной. Серега увидел его взгляд и тоже посмотрел официантке вслед. Костя увидел их обоюдный взгляд, но вслед официантке смотреть не стал – у него были свой вкус в отношении женской привлекательности – и вдруг не совсем вежливо сказал Виктору, деликатному человеку:

– Ну, ты когда найдешь Ивану женщину? А то он уже на официанток заглядывается!

Вопрос был ни с того ни с сего, от прихлынувшего радостного чувства, и не предполагал ответа. Даже Иван, которого вопрос касался непосредственно, это понял. Но деликатный человек Виктор к вопросу отнесся со всею деликатностью, то есть принял его всерьез и даже не подумал выразить вполне уместное недоумение на тот счет, где же он должен искать женщину для Ивана, и почему именно он должен ее искать. Он, кажется, даже застыдился и вменил себе в вину ту беспечность и ту недогадливость, с какими жил-поживал, тогда как Иван был без женщины. Он нахмурился и, глядя себе в рюмку, сказал:

– Ну, есть у меня знакомая женщина!

– Небось, какая-нибудь старая корова? – по-прежнему невежливо спросил Костя.

– Почему корова? Нет. Молодая симпатичная женщина! – сказал Виктор.

– А чего же Ивана не познакомишь? – спросил Костя.

– Познакомлю! – так и не оторвав взгляда от своей рюмки, сказал Виктор.

Об этом больше не говорили. А когда вышли из кафе, Виктор, постаравшись незаметно, сказал Ивану, чтобы он завтра в такой-то час ждал его около консерватории.

– Виктор! Да все это в шутку! Какое знакомство! – сказал Иван.

– А я не в шутку! – сказал Виктор.

– Ну, хорошо! – сказал Иван.

Он подумал, что Виктору было удобно встретиться около консерватории, а вышло, что знакомая женщина Виктора работала там в библиотеке и Виктору несколько раз подбирала необходимую партитуру, что само по себе их и познакомило, но познакомило их ближе – в самом в целомудренном смысле – одно обстоятельство, очень ее в глазах Виктора и его жены украсившую. Деликатный Виктор не преминул Ивану об этом обстоятельстве рассказать, прежде чем они пошли в библиотеку. Это обстоятельство казалось Виктору не характерным для нынешнего поколения молодежи, в том числе и женщин, как известно, натур более чувственных и отзывчивых. Обстоятельство заключалось в том, что несколько лет назад Виктору потребовалась срочная дорогостоящая операция, и по консерватории, по всем музыкантам был кликнут клич, была пущена, так сказать, шапка, и в эту шапку, сгорая от стеснения пред цари, демиурги и небожители, из своего библиотечного подвала эта женщина внесла свою посильную лепту, свою копеечку, схожую с той, которую принесла некогда во храм евангельская вдовица. Иван такому обстоятельству обрадовался не особо. Он подумал про нее, сообразно общему мужскому представлению, так, что если добродетельная, так, значит, пухленькая и толстенькая, что ему, опять же сообразно общему мужскому представлению, черт знает, откуда навязанному, было не ах.

Он до самого свидания старался о ней не думать, ничего не рисовать себе в воображении и тем как бы берег себя и ее от возможного разочарования, и больше-то берег не себя, а ее. По его, теперь уже не общему, а собственному представлению, если бы она оказалась пухленькой и толстенькой, сразу почувствовала бы то, что он ждал и рисовал себе другую, например, стройненькую, худенькую, изящненькую, и ей, как женщине, нисколько в своей пухленькости и толстенькости не виноватой, было бы от того больно.

А вышла молодая женщина, прямо сказать, очень даже ничего, очень даже худенькая, стройненькая, изящненькая. А если сказать еще прямее, то она Ивану сразу понравилась. Он даже обрадовался тому, что сумел ничего не рисовать себе, и теперь сразу ее принял такую, какую увидел. Она вышла, он окинул ее быстрым и будто равнодушным взглядом и тотчас отметил: ага! – и тотчас напрягся: а вдруг? – то есть такая женщина не может быть не занята, – и еще: а вдруг? – то есть а может быть, он ей не будет ах.

Она же чрезвычайно Виктору обрадовалась, а на Ивана, кажется, и не взглянула.

– Виктор Иванович! Как я рада вас видеть! – воскликнула она.

И голос ее, немного горловой и какой-то певучий, будто даже что-то сохранивший от детства, и глаза ее, синие и будто тоже сохранившие что-то от детства, и кругловатое чистое личико, и гладко зачесанные волосы сказали, что она, правда, рада.

– Да вот я тут!... – замялся Виктор.

– Вы так давно не заходили! – сказала она и быстро посмотрела на Ивана, как бы определяя, с Виктором ли он пришел или не с Виктором.

– Как вы живете? – спросил Виктор.

– Да хорошо! Все очень хорошо! А вы? Вам надо в чем-то помочь? – спросила она.

– И я хорошо! – сказал Виктор, хлебнул воздуха, снял очки и будто бухнулся в воду: – А как у вас с личной жизнью?

– И с личной жизнью хорошо! – сказала она и снова быстро посмотрела на Ивана.

– Ну, вы одна? – еще раз бухнулся в воду Виктор.

– Одна! – сказала она.

– И он один! Знакомьтесь! – сказал Виктор про Ивана.

И потом они оба, Виктор и Иван, будто из воды вынырнули, вышли в консерваторский дворик и облегченно вздохнули.

– Ну, как? – спросил Виктор.

– Очень! Спасибо! – сказал Иван.

Четверо молодых людей, о которых только что шла речь, по возрасту были далеко не молодыми, что отнюдь ничего не значило в плане какой-нибудь лжи, какого-нибудь приукрашивания действительности, предумышленной молодильности и тому подобного. Теперь и женщины-то о таком не помышляют и со всей откровенностью говорят о своих летах, если, конечно, они умные, а умных женщин, по некоторым приметам, становится все больше. Мужики же, то есть мужской пол, совсем не обращали на себя внимания и

порой свой день рождения принимали за хорошую причину пообщаться с друзьями или попросту вволю попить, но ничуть не как причину всплакнуть по быстро уходящей жизни. И были, конечно, среди мужиков и определенные нарцисстические личности или престарелые сластолюбцы, которые скрывали свой возраст, ошибочно полагая, что если не скажут, так того и не станет. Четверо же молодых людей, о которых идет речь, были не из таких.

Четверо молодых людей были молодыми по своей природной придури, которую культурно называют жизнелюбием, жизнерадостностью, молодой душой, оптимистическим взглядом на действительность и на себя, неунывающим характером и даже мальчишеством. Судьба свела их по каким-то одной ей известным принципам, и совсем не важно, кто кем из них был по профессии. Трое из них были счастливо женаты – ну, ладно, ладно, трое из них были женаты и вполне сносно себя в женатом состоянии чувствовали. А четвертому в этом смысле не повезло, хотя трое частенько поговаривали, что как раз именно ему-то повезло, и между собой решали, как бы в этом везении его уравнивать с ними – в шутку, конечно.

А новую знакомую Ивана звали Анной, была она его намного моложе и была в свое время замужем, но замужем несчастливо – да, да, несчастливо, тут в самом деле несчастливо. Прожили они с мужем восемь лет, детей не завели, совместного добра не нажили, расстались без сожаления, так что не было понятно, для чего так долго вместе жили. Иван в момент знакомства, конечно, ничего такого об Анне не знал, но на нее враз откликнулся. Они договорились встретиться на следующий день утром, договорились как-то совсем просто, будто уже не раз встречались. Она сказала, что следующий день у нее выходной. А он сказал, что на следующий день ему надо помочь другу Сереге на даче, но поедут они не с самого утра. Так и вышло, что договорились о встрече на утро.

– С утра мы с вами увидимся, немного поговорим, а потом я займусь домашними делами! – сказала она.

– И у друга на даче я буду думать о вас! – напустился сказать он.

– Думайте! – сказала она с улыбкой.

На следующее утро, темно-синее и ненастное, с короткими налетами дождя, черт знает, отчего так случается в июне, Иван и Анна встретились и каждый с пятое на десятое и немного путано рассказали о себе. Анна рассказала про свои восемь лет замужества и еще про одного мужчину, с которым встречалась примерно раз в две недели и потом встречаться перестала, потому что устала с ним, как устала в свое время с мужем. Иван рассказал о себе, о своей давней женатой жизни, ну и о том о сем, а в целом, получилось, ни о чем.

– Я тоже весь день буду думать о вас! – сказала она при расставании и вдруг попросила придумать ей какое-нибудь имя, которое было бы только для них двоих.

– Ну, теперь-то я поневоле буду о вас думать и, пожалуй, другу на даче помочь не смогу! – сказал он.

– Да ну! Вы забудете, как только на даче окажитесь! Меня мои мужчины как-то быстро забывали! – сказала она.

А ему очень понравилась просьба про имя только для них двоих. Он стал придумывать и совершенно естественно отказался от первого же пришедшего на язык английского имени Эн, как того можно было ожидать, не говоря уж об имени «Анечка». Их он отринул сразу же, будто даже о них не подумал. А придумал он ее называть Антика, то есть античная, хотя сам же и пробурчал недовольное «Антика-Атлантика». А ничего другого не придумал – не называть же как-нибудь, там, Аннета, Ания, Анико, Анушт, как, он слышал, называют на югах, где ему приходилось бывать не раз.

А Серега, лишь Иван сел к нему в машину, сразу с намеком спросил:

– Ну, как?

– Виктор познакомил. Понравилась. Сегодня встречались. Договорились встретиться еще! – сказал Иван.

– Ответ полный. Ответ принят. Молодец. Действуй! – в тон Ивану сказал Серега.

На даче надо было сделать разметку под строительство дома, снять весь дерн с размеченного участка и сложить его за забором у первых и очень высоких сосен старого леса аккуратным штабелем. С разметкой они провозились до вечера. Скрупулезный Серега добивался точности по диагоналям до миллиметра. Алексей сначала отговаривал его – все равно ведь потом все собьется, и не только на миллиметр, а на какие-нибудь полметра. Потом говорить перестал, сколько-то поработал молча, а потом даже привычно увлекся.

День так и не выровнялся. Но был он, как и утро, каким-то синим, угрюмо мерцающим и на удивление чистым, будто промытым недавним жгучим ледяным ливнем. Налетал хлесткий порыв дождя и тут же уносился дальше, так что Серега и Иван перестали обращать на него внимание.

К вечеру с разметкой закончили и взялись за ужин. На мангале приготовили гречку с тушенкой, нарезали огурцов и поставили на стол водку. На даче у Сереги была только просторная и с любовью отделанная баня с крыльцом-галереей, да в стороне стояла снятая с колес старая кабина военной штабной машины, обустроенная под жилье. Иван все время на нее взглядывал, и Серега, заметив, вспомнил из прошлого:

– А там у нас, помнишь, был железнодорожный контейнер. И всяких полураздолбаев сажал туда на часик это при жаре-то в сорок. И часовой каждые пять минут бил по контейнеру кувалдой. Если полураздолбай переставал в ответ материться, часовой открывал контейнер и смотрел, не пора ли его оттуда вынимать. Воспитывало нормально! Помнишь?

– Нет, не помню. Я к тебе в лапы не попадал! – в шутку сказал Иван.

– Ты был полный раздолбай. Потому я тебя туда не сажал и даже трижды представил к ордену! – сказал Серега.

– А почему только полураздолбаев сажал, а не полных раздолбаев? – спросил Иван.

– Потому что полным раздолбаем был только ты!.. – опять сказал Серега и поправился. – Да нет, шучу!.. Полных раздолбаев не было! Был один лейтенант, замполит не вашей роты, который как прибыл, так сразу же отказался ходить на боевые. Я его с соответствующей сопроводительной отправил в Союз! – сказал Серега.

Они сидели на крыльце-галерее, неспешно ужинали и нет-нет да смотрели на участок, где должен будет стоять дом, на горизонт с бесконечно ползущими тучами. Тучи время от времени разрывались, и в прореху брызгало желтоватым, переливчатым и коротким светом. Свет был похож на надломленную лучину. Он будто даже поворачивался то одной стороной, то другой, а потом густо замазывался синим. Но отблеск его кое-где еще держался на синем, странно, вопреки закону физики и живописи, не превращаясь в зеленый. И, конечно, Иван вспоминал утро, вспоминал Анну, с которой ему как-то сразу стало легко и просто, представлял то, как он ей скажет ее новое имя, и переживал, понравится ли оно ей.

В какой-то миг, совсем, как позавчера, вдруг пахнуло холодом, воздух вдруг помертвел, стал быстро сереть. Вислобрюхая туча, едва не цепляя сосны, закрыла горизонт. Сверкнуло и грохнуло одновременно, да так сверкнуло и грохнуло, что, кажется, не только бутылка и стаканы на столе, а и вся баня сотряслась. Косо и даже настильно, горизонтально земле, ударил дождь. И Иван опять, как позавчера в кафе, сказал:

– Ну, наконец-то наступило оно, долгожданное лето!

Сергея тотчас прибавил:

– И это хорошо, можно сказать, даже удовлетворительно!

### 3

– А я думала, дальше имени «Эн» вы не пойдете! – сказала она.

– И это плохо, что я пошел? – спросил он.

– Нет, не плохо. Но какая же я Антика. Лицо, как блин. Ножки, как у козы рожки. Сама тупая, глупая, ни на что не способная – только книги да ноты таким же тупым студентам выдавать! – наговорила она на себя.

– Ну, тогда вот есть еще хорошее имя: Аннатомия! Враз обозначает и имя, и работу: Анна и тома книг! – сказал он.

– Ну, вот так и зовите меня. А еще лучше сразу уж: Патологоанатомия! – сказала она.

– Слишком античное имя! – сказал он.

Так они пошутили, и она предложила пойти на встречу с чеченскими поэтами в городскую библиотеку.

– Приехали поэты из Чечни. И нас для массовости обязали быть! – сказала она и еще сказала, когда они пошли, что в университете им преподавали литературу народов СССР, но они преподавателя не слушали. – Кто же будет тратить на нее время. Все за западными новинками гонялись! – сказала она.

– Вот сейчас и познакомимся! – сказала он.

– Да ведь вам, наверно, скучно будет. Мужчины же стихи не любят. Их всё больше экзальтированным дамочкам, таким, как мы, подавай! – сказала она.

– Ничего. От скуки только мухи дохнут. А мужики – нет! – сказал он.

– А мужчины – отчего? – спросила она.

– Мужчины? – на миг задумался он. – Как говорит наш друг Костя, мужчин губят четыре причины...

- Ну, да, знаю: карты, бабы и водка! А четвертая? – спросила она.
- Война! – сказал он.
- Трех хватит! И из трех одна уже с вами! – сказала она.
- Вот вам и имя! – сказал он.
- Какое? – не поняла она.
- Баба! – сказал он и спросил: – Или вы хотите ее синоним «погибель»?
- Господи! Ни бабой, ни погибелью меня еще не называли! – сказала она.
- Меня не встречали – потому! – сказал он.
- Погибель-то кому – вам или мне самой? – спросила она.
- Пока – только мне. А там посмотрим! – сказал он.
- А вообще вы книги-то хоть читаете? – сменила она тему.
- Читаю! – сказал он.
- Правда, что ли? – не поверила она.
- У меня был в армии командир, так он любил Камозэнса! – сказал он.
- Нет, правда? Камозэнс – это же португальский поэт какого-то там, я уже забыла, века! – остановилась она.
- И что? – спросил он.
- С каким человеком меня познакомил Виктор Иванович! – сказала она.

Такой их разговор, собственно, ни о чем и в то же время, как и бывает в самое первое время знакомства, о многом, им все больше нравился, и они сами все больше нравились друг другу. И это было им видно. И они видели, что это видно, и от этого тоже нравились друг другу.

В библиотеке, в большом конференц-зале собравшихся на чеченских поэтов было немного. Сидели они порознь, редко парами, и были в основном женщины.

– Вот видите, мужчин-то всего только один! – показала она на первый ряд столов, где сидели грузноватый мужчина в черном пиджаке и маленькая худая женщина в соломенной шляпке.

Он только пожал плечами.

– Может быть, вам правда будет скучно. Вы можете подождать меня. Я быстро выйду! – предложила она.

– Да нет, мне интересно! – сказал он.

– Так, может, вы и чеченских поэтов знаете? – спросила она.

– Да нет. Так, однажды видел в газете стихи одного и всё! – сказал он.

– А сами-то вы не поэт? Я вас вчера спрашивала, а вы сделали вид, что не слышали.

Кто вы? – спросила она.

– Мелкий предприниматель-неудачник. Стыдно об этом говорить! – сказал он.

– Наверно, врёте! – сказала она.

Он промолчал. За первыми столами мужчина и женщина вдруг о чем-то заспорили.

– О, эти уже начали! – сказала Анна.

– Кто? – спросил он.

– Фамилий их не помню. Это местные поэты, муж и жена. Они везде ходят, везде выступают, везде себя хвалят, называют самыми гениальными и единственными поэтами! – сказала Анна.

Мужчина и женщина спорили до тех пор, пока в сопровождении ответственного библиотечного лица не пришли чеченские поэты. Их было пять. Потом, правда, оказалось, что поэтов было только двое, и то один из них оказался не чеченским, а московским поэтом. Еще один оказался певцом, а двое оказались музыкантами. Они ездили по стране поездом дружбы и представляли чеченский поэтический и песенный фольклор, изданный отдельной книгой. Московский поэт сказал об истории собирания чеченского фольклора, в котором принимал участие и Лев Толстой.

– Помните, в «Хаджи-Мурате» Толстой приводит песню, охарактеризовав ее как отличающуюся торжественно-грустным напевом, назвав ее песней о кровомщении, – сказал он. – Но эти песни таковыми не являются. Точнее их следовало бы охарактеризовать как смертные песни, в которых герой обращается к смерти, готовится к ней и не боится ее. Как исполнялись такие песни, в том числе именно песня, приведенная Львом Николаевичем В «Хаджи-Мурате», сейчас вам представит певец, артист Грозненской филармонии и исполнитель чеченских народных песен Магомед. Прошу вас!

Музыканты завели мелодию. Певец исполнил. Все похлопали. Московский поэт хотел еще сказать, но из-за первого стола выскочили мужчина и женщина.

– Мы приветствуем в вашем лице весь чеченский народ! – закричала женщина. – Но дайте мне пять минут! Дайте пять минут!

– Послушай, успокойся, подожди! Дай, я скажу первым! – стал удерживать ее мужчина.

– Нет! Ты не сможешь! – женщина подбежала к певцу, обернулась в зал и вздернула над соломенной шляпкой какую-то книгу. – Вот! Вот! Вот в этих моих стихах, – она над соломенной шляпкой потрясла книгой. – Вот в них кроется художественная правда, которую я выстрадала всей своей жизнью поэта! Я, мать, я, поэт, я, дочь фронтовика! Это книга страданий! Но ее пытаются уничтожить! В меня даже из-за этой книги стреляли! Мне хотели заткнуть глотку! Но художественную правду не убить! Вот! – она повернулась к певцу. – Вот, возьмите ее для чеченского народа! Пусть чеченский народ ее прочтет и поймет! Он многострадальный народ! Он обязательно ее поймет! Она тоже станет его фольклором! Вот, возьмите!

Певец несколько ошарашено протянул руку к книге. Но его руку от книги отвел мужчина. Он схватил его за рукав и, так держа его, стал говорить о себе. Он стал говорить, что он единственный во всей России эпический поэт, что все остальные погрязли в мелкотемье, а он единственный эпик.

– Я единственный эпик! Но меня из зависти затирают, не пускают на сцену, не публикуют в журналах, не присуждают премий! Мне очень понятен ваш фольклор! Он сродни

моим стихам, сродни вообще моему творчеству! – стал он втолковывать певцу, а в это же время женщина пыталась всунуть ему в руку свою книгу.

– Возьмите и передайте всему чеченскому народу! – вскрикивала она певцу и одновременно вскрикивала мужу, что он, муж, не сможет передать всего того, что выстрадала она.

– Нет! Я смогу больше! Это наше мужское! А ты – со своим женским! – оттирал ее от певца муж.

А певец только вертел головой от одного к другому и лихорадочно, судя по выражению лица, думал, за что ему чеченский бог Дела ниспослал такое испытание, и как ему из него с честью выйти.

– Вот оно, кровомщение! – вспомнил слова московского поэта о песенном фольклоре Иван.

– Это надолго! Бедные чеченцы! – сказала Анна.

И правда, мужчина и женщина никак не могли усмириться. Зал уже зашикал, заерзал, заскрежетал по полу стульями, завсхохотывал, а мужчина и женщина никак не могли оставить певца и в его лице весь чеченский народ. И неизвестно, чем бы все закончилось, кабы музыканты не догадались завести новую мелодию. Под ее торжественно-грустный напев, как сказал Лев Николаевич Толстой и, собственно, таким он был, этот напев, мужчина и женщина несколько притихли, вернулись за стол и стали что-то выяснять между собой. После напева певец что-то им сказал, вероятно, заверил в неперменной передаче книги чеченскому народу и в неперменном освоении ее содержания чеченским народом. Мужчина и женщина опять было вскочили. Но из зала на них зашикали, и к ним подошел с просьбой успокоиться кто-то из ответственных библиотечных работников. Далее художбно все пошло по плану, и вскоре встреча закончилась. Все поспешили из зала.

#### 4

Иван провожал домой Анну и молчал. Она что-то говорила, сколько он мог понять, не слушая и только выхватывая отдельные слова, говорила об этих двух местных поэтах, о том, что она дура набитая, потому что пошла на эту встречу, а никто из библиотеки не пошел, говорила что-то еще. Он не слушал. Он смотрел прямо перед собой, а потом, в автобусе, смотрел в окно, смотрел на поток машин, отвлекался на оранжевые вспышки в окнах домов от прорвавшегося к вечеру сквозь тучи солнца.

– Ну, что вы, эй! – наконец поняла Анна, что он ее не слушает, и взяла за руку.

Он попытался отшутиться. Однако у него не получилось. У подъезда она предложила зайти к ней. И пока она готовила ужин, он нашел в ее книгах «Хаджи-Мурата» и нашел то место, где приводилась песня, названная Толстым песней о кровомщении, и поразившая его, как говорил московский поэт, торжественно-грустным напевом. В повести действительно все так и было. «Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Буллера своим торжественно-грустным напевом. Буллер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее. Песня относилась к кровомщению...» – прочитал Иван.

И за ужином она больше молчал, и был похож на маленького обиженного ребенка. Анна, увидев это, тоже сникла, а он этого не заметил.

– Вам что-то не нравится? – спросила Анна.

– Да нет, так, немного наплыло! – сказал он, не умея объяснить своего состояния.

Она помолчала и спросила:

– Вы останетесь?

Он молча и легонько насмелился ее приобнять и почувствовал, как дробно выстукивает ее сердце.

Все у них получилось просто. Было еще довольно светло. Они лежали рядышком. Он искоса смотрел на нее и вместе с обрывками всяких, как это обычно бывает, не к месту лезущих мыслей, себя спрашивал, сколько продлится их с Анной время, и стоит ли ему к Анне привыкать. Наверно, она думала о том же. И она, кажется, нашла ответ быстрее.

– Ну, дура же я набитая! Потачила я вас на эту встречу. Только время потеряли. Никто из наших не пришел. Только я, дура послушная! – сказала она.

– Да нет, нормально! – возразил он, помолчал и прибавил. – Вот приехали чеченцы. А никто на встречу не пришел – только эти двое. И получилось, что все русские такие, как они. Стыдно было за них. – Кстати, ведь и у Толстого в «Хаджи-Мурате» русские изображены так, что читаешь, и становится стыдно!

– Ваня, а вы кто все-таки? – спросила она.

– Да я же сказал, я мелкий предприниматель, Анечка! – сказал он.

– А говорите такое, будто вы из госдумы! – сказала она.

– В госдуме о таком не говорят! – сказал он.

Она повернулась к нему, приподнялась на локте, свободной рукой провела по его лицу.

– Я тебе понравилась? – спросила.

– Очень! – сказал он.

– Ну, тогда мы – не на один раз?

– Я не хочу на один раз! – сказал он.

– Тогда давай друг другу расскажем о себе! И сначала я расскажу, чтобы ты успел подумать, стоит ли «не на один раз»! – сказала она.

Он отметил, что она не уследила, как перешла на «ты» и улыбнулся.

– Ну, вот такая твоя Антика, которой уже тридцать три, и которая дура душой! – сказала она. – Я закончила университет. И я с самого детства готовилась, меня так настроили, готовилась стать знаменитой пианисткой. Ничего другого я с самого детства не знала. И лет до двенадцати у меня все шло хорошо, я выступала, меня хвалили, мне хлопали, я раскланивалась и видела себя в ореоле будущей мировой славы. А где-то в двенадцать оказалось, что у меня что-то с пальчиками на левой руке не так. И все закончилось. И я пережила это как собственную смерть. И до сих пор я – это будто не я. Вроде бы и не совсем я уродина, и я вижу, что я вам понравилась, – он опять отметил ее переход на «вы» и опять улыбнулся. – Что? – спросила она. Он мотнул головой: ничего. – Ну, вот, и все в жизни у меня, как у мертвой, – продолжила она. – Этот филологический факультет. Не знаю, как в других местах, но наш университетский филфак – это дурдом, вернее даже не дурдом, а какая-то фабрика,

которая готовит людей в дурдом. Это что-то прочумленное. Там только: ах западная литература, ах западная литература, ах романо-германская филология, ах романо-германская филология! Ах, постмодернизм, ах, постмодернизм! Представьте, пять курсов сплошных девиц, вот так ахающих и, конечно, мечтающих о неземной любви, потому что они, видите ли, сами неземные, они филологи. К концу учебы у всех мозги сдвинуты по фазе – и это на всю жизнь. И я, дура, – туда же. Вышла я из университета, жизни не знаю и знать не желаю – если уж я не знаменитая пианистка, то неземная богиня, прочитавшая все вершины западной литературы, у меня в голове только Кафка, Камю, Сартр, у меня в голове только Воннегут, Фрост, Борхес, Маркес! Ну, в общем, пока перебесилась... Нет, не так. Ну, ладно, так, только еще хуже. В конце концов, я вышла замуж, и прожили мы с мужем восемь лет, а, извините, сексом занимались только первый год и то по нисходящей. Я спрашиваю, почему. Он отвечает, ты дура, что ли, кто же этим занимается, все живут без секса. И я ему поверила. У меня есть подруга Светланка. Она бухгалтер, тоже сдуру выскочила замуж, родила и кое-как избавилась от мужа-наркомана, сейчас мальчишка одна воспитывает. Вот мы с ней соберемся и мечтаем: «Господи, ну, хоть бы еще разочек!» – но она-то в разводе, одинокая, а я, дура, замужняя. И так восемь лет – ни любви, ни секса, ни ребенка!

Он прижал ее к себе.

– Не уйдете от меня? – спросила она.

Он отрицательно мотнул головой.

## 5

– Ну, все-таки, кто вы? – спросила она в следующий вечер, когда он пришел в консерваторский дворик встретить ее.

– Потом. Ничего интересного! – сказал он.

– Ну, хоть не бандит вы? – спросила она.

Он с какою-то тоской посмотрел на нее искоса. Она поджала губы – по-детски, чтобы не просить прощения.

– Пойдемте в музей искусств. Там сегодня открытие выставки. Выставляют привезенные из «Эрмитажа» графические работы Пикассо, Дали и еще кого-то! – сказала она.

– Вас снова посылают для массовости? – спросил он.

– Нет. Самой интересно! – сказала она, и глаза ее как-то переменялись, он бы сказал, что по ним прошел недавний хлесткий дождь.

– А ваш второй мужчина, случайно не художник? – спросил он и только потом подумал, что, судя по перемене ее глаз, спрашивать было не надо.

– Нет, не художник! – сказала она.

Он понял, что угадал, и не удивился тому, что она сказала неправду. Он про себя усмехнулся. Следовало соврать что-то невинное и уйти. Он так подумал. Она взяла его под руку. Он пошел с ней. Но он почувствовал, что все вчерашнее исчезло, и, вернее, все вчерашнее он себе придумал.

В музее тесная толпа их разделила. Сначала они были вместе, но потом он отстал и смотрел больше не на работы, а за ней. Да, собственно, из-за толчи смотреть на работы не было возможности. Она на него не оглядывалась. Он ее не догонял. Через какое-то время толпа поредела. Ходить отдельно друг от друга стало вызывающим. Он подошел первым. Она опять взяла его под руку, но ничего не сказала. Промолчал и он. Неожиданно к ним подошли телевизионщики, и девушка-режиссер попросила его сказать о своем впечатлении в камеру.

– Вы, как художник, как коллега, как мастер, скажите свое впечатление от всего этого пиршества! – сказала она.

– Я не художник, простите! – сказал он.

– Но разве вы не?... – назвала она какую-то незнакомую ему фамилию, вероятно фамилию известного художника.

– Нет. Я не!... – повторил он фамилию незнакомому ему художника.

– Но вы!... – обернулась девушка-режиссер к Анне.

– Да, это я! – сказала она.

– Но вы, правда, не?... – переспросила девушка-режиссер Ивана.

– К большому нашему обоюдному несчастью, правда, нет! – спокойно, но леденея внутри, сказал он.

Он понял, что его приняли за ее мужчину, за того, угаданного им мужчину. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Она постаралась отвести глаза. Он снова улыбнулся и подумал с сочувствием, что же она так. Ведь она о нем сказала – был. Она же призналась – был. Она же с надеждой спросила: «Не уйдете от меня?» – так что еще? Ему стало очень надо, чтобы она посмотрела на него. Она не смотрела.

– Но все-таки! Скажите свое впечатление как посетитель! – сказала ему девушка-режиссер.

– Я не обычный посетитель. Я бандит! – сказал он.

– Вот как! Как интересно! – едва не шарахнулась от него девушка-режиссер, но тотчас загорелась. – Тем более, скажите! – и повернулась к своему оператору: – Паша, быстро, быстро!

– Мои впечатления, – сказал он и оглянулся на ближайшую работу, – Мои впечатления, – еще раз сказал он и далее стал говорить, глядя на работу, но в стекле, отражающем зал, старался увидеть Анну.

– Повернитесь, пожалуйста, к камере и говорите вот сюда! – попросила девушка-режиссер.

– Век бы камеры не видать! – буркнул он, изображая бандита.

– Этого снимать не надо! – сказала девушка-режиссер оператору, а его попросила говорить только о выставке.

– Что я могу сказать? Да ничего не могу я сказать. Одни дурачатся, а другие им верят! И вообще имена эти Пикассо, Дали, все это слишком раздуто. А вот у моего друга, тоже

художника, – он назвал фамилию совсем неизвестного ему человека, который был некогда, а возможно, совсем недавно, возможно, только вчера мужчиной Анны, и которого он знать не знал и знать не желал, но сейчас превращал его в своего друга.

– То есть что вы говорите? Как это раздуто! Как это дурачатся! – воскликнула девушка-режиссер.

– Да так, дурачатся, и раздуто! А вот у моего друга, – он снова назвал фамилию мужчины Анны, оказывающегося то ли бывшим, то ли далеко не бывшим, – вот у него работы гораздо на более высоком уровне, но его...

– Паша! Это не снимай! – вскричала оператору девушка-режиссер, а ему, Ивану, сказала, как бросила: – Да вы настоящий бандит! – но быстро сообразив что-то свое, журналистское, переменялась: – А вы можете о чем-нибудь поговорить о своем, бандитском, только не здесь, а в другом месте?

– Я же бандит! И мне нельзя светиться! – сказал он.

А потом спросил у Анны, во все свои синие и то ли холодные, чужие, жесткие, то ли ошарашенные глаза смотревшую на него, он спросил, не видела ли она здесь своего мужчину.

– Знаете что! Сегодня не провожайте меня! – сказала она.

И он не смог разобрать, что больше было в ее детском и беззащитном голосе, испуга или злости.

– Как скажете! – тотчас сказал он.

## 6

– Ну и дикий ты человек, Ванька! – всех-то слов было Ивану от его друзей Сереги и Кости, когда поздним вечером на даче Сереги он рассказал, как у него с Анной получилось в музее.

Иван и сам знал, что дикий. Он очень переживал разрыв. По сорока раз на дню, а вернее, не переставая, как кадры фильма, прокручивал он музейный вечер. И в целом он видел, что был не прав, что выиграла в нем придурь, не изжитая до седых волос. И в целом он видел теперь все по-другому. Однако в этом целом не все ему казалось, так сказать, цело, то есть просто, плотно, едино утрясено, добрым порядком уложено и обустроено. Слишком в этом целом, таком целом, которое, по-нему, оказывалось не целым, сквозила пусть и придурковатая и им самим признаваемая за придурковатую, но здравая для него мысль, вернее, здравый и имеющий законное право быть вопрос: зачем же она соврала? – За этим вопросом он не видел никакого другого вопроса, ну, хотя бы вопроса, а соврала ли она, или вопроса, а может быть, он сам, Иван, не дал ей возможности не соврать – да мало ли сколько хороших вопросов можно было задать самому себе и тотчас на них ответить, и тотчас подхватиться да побежать к ней, спросить ее, что же такое произошло, и как это исправить. Но такого другого вопроса не приходило. Вместо него приходило, свое давнее чувство к жене, ушедшей от него в какой-то такой злобе, что эта злоба перехлестнула в нем всю боль от ее

ухода. Это воспоминание по какой-то неизвестной логике выкатывало ему совсем не нужное толстовское слово «кровомщение», а за ним чередой кадров тащились воспоминания об еще одной некогда им любимой женщине, с которой у него, как и с женой, ничего не вышло.

– И с этой не вышло! – говорил он об Анне.

И снова выплывал вопрос – зачем она соврала?

Так четыре дня маялся он. И вечером четвертого дня на даче у Сереги после работы в траншею для фундамента под водочку его спросили, как у него с Анной, и он рассказал, как. И Серега с Костей сказали ему, что он дикий. А Костя еще прибавил.

– Ты не просто дикий. Ты уросливый и малохолный! – сказал Костя.

И Серега прибавил.

– А ты бы ее спросил: «Вы почему врете, мадам? Вы что, меня не любите? Или врать, может быть, вам доставляет удовольствие?» – сказал Серега.

А Костя на это еще прибавил.

– «Нет, – сказала бы она. – Мне удовольствие доставляет совсем иное!»

Он понимал, что они любят его и переживают. И то, о чем они говорили, на миг ему казалось смешным, а потом снова накатывал вопрос: зачем она соврала?

– А расстрелять его за курятником! – предложил Костя.

– За курятником не имеем права. За курятником – это высшая мера наказания! – возразил Серега.

– Вообще расстрелять! Расстрелять и похоронить со всеми почестями, со слезами не состоявшейся вдовы на могилке! – предложил Костя.

– За любовь не расстреливают, мой друг! – возразил Серега.

– Какая любовь! Он же уросливый и малохолный! – сказал Костя и спросил Ивана:

– Ты любишь ее?

– Нет! – скрывая себя, рявкнул Иван.

– Дикий! Дикий, как пионер Запада, как «жил-был у бабушки серенький козлик!»! – сказал Костя.

## 7

Бывает такое или не бывает, может быть, только с Иваном случилось такое. Она открыла дверь. Он ступил за порог. И они стояли друг другом объятые, и ни одна мысль, ни один образ не шевельнули его. Можно сказать, получилась библейская сцена наяву. И сказать ему раньше, что он на такое способен – вот так бездумно стоять и ничего себе не представлять и ничего не чувствовать, только ее, и только с ней в объятии стоять, но стоять бесплотно, бестрепетно, будто на земле прекратилась жизнь, он не поверил бы, он просто отвернулся бы от придурка, которому могло такое о нем взбрести сочинять. А оказывается, Бог шельму метит. Оказывается, и он, как бы это сказать покрасивше, не покрасивее, а именно покрасивше, чтобы соответствовало ему, уросливому и малохолному, а оказывается, и он не чужд был высоких чувств, шельма (последнее слово выскочило безотносительно высокого стиля).

Когда же она включила свет, он увидел сухие ее глаза, а что увидела она, он не спросил.

– Ты больше так не делай! – сказала она.

Он, как и четыре дня назад, отметил ее переход на «ты». И он, обещая ей, покивал головой.

– А мы со Светой, подругой, все эти дни ревели. Она сказала, придет. А я сказала, нет! – сказала она.

– Хорошая у тебя подруга! – сказал он.

– Я боялась, если скажу, что придешь, то обязательно не придешь! – сказала она и еще сказала: – Давай я тебе все расскажу про того бывшего мужчину!

– Не надо! – сказал он.

– Нет уж, я лучше расскажу, а то опять задумаешь да уйдешь! – сказала она. – Я соврала тогда тебе. Я соврала, потому что просто испугалась, как баба, испугалась неизвестно чего. Ты спросил: он художник? – и угадал. И я испугалась. И соврала. А он, как ты понял, на самом деле художник. И как эта дура в музее смогла его перепутать, я не знаю. Она ведь несколько раз брала у него интервью. Меня она запомнила. Наверно, позавидовала, потому и запомнила. А его перепутала. Мы с ним встретились на одной выставке. Он пригласил меня в мастерскую. И я стала приходиться к нему, когда он позовет. Раз в месяц примерно. Ему было удобно. Живет своей жизнью и иногда со мной развлекается. И я устала, как и с мужем, устала. Мне хочется пожить еще и своей жизнью. Он решил уехать на Запад. Я для него была просто куклой. А когда он задумал поехать на Запад, он стал меня трясти, уехать ему или не уехать, будто я могла что-то за него решить, и будто он послушал бы. Мечется он, как артист в плохой пьесе, руки заламывает, кисти швыряет и декламирует: уехать или не уехать? – а мне и страшно, и противно, и я ему подсказываю: «Вот в чем вопрос!» – А он и не слушает. Он на меня смотрит, какое впечатление на меня производит, повешусь я после его отъезда или утоплюсь. Он и в церковь бегал, и меня таскил туда, молился там, к батюшке приставал, чтобы он тоже ему сказал, уезжать или не уезжать. А я такого на своем филологическом навидалась, сама чуть в это не впала, как же, ведь вся жизнь игра. Вся жизнь – только экзистенция, она только для избранных. Остальные в ней – фон, древнегреческий хор. Я ушла от него. Так он стал приходиться ко мне домой и опять приставал, уехать ему или не уехать. Я видела, что он хочет сделать мне больно, чтобы я безумно страдала. Сам ко мне относился, как к кукле, только раз в месяц пользовался мной в постели, как резиновой куклой, а вот надо стало, чтобы мне было больно. Я прогнала его. Он стал думать, что я завела себе другого. Однажды пришел с гвоздодером, то ли дверь взламывать хотел, то ли нового моего ухажера убивать. И опять это была только игра, только театральные страсти. Я опять прогнала его. А он сказал, что я без него сдохну, что никому я не нужна. И когда ты угадал, что он художник, я просто испугалась, что все это вернется. Я ведь тогда попала даже в больницу...

Иван покивал в ответ, мол, понял, взял ее за плечи.

– Увидела, что я дурак? – спросил.

– Увидела! – сказала она.

– Нужен я тебе такой? – спросил.

– Ты не такой дурак, как все. Ты другой дурак. Мне с тобой с первой же минуты стало тепло, как никогда тепло не было, даже дома с родителями в детстве! – сказала она.

– Значит, мы будем вместе? – спросил он.

– Не уходи от меня! – сказала она.

– Ну, тогда я немного расскажу о себе! – сказал он.

– Нет, не надо! – она прижала палец к его губам. – Не сейчас. Для меня уже всего, что случилось, очень много. Я не смогу еще что-то перенести. Потом расскажешь! А сейчас мне просто тепло с тобой! И я согласна жить с тобой, хоть ты кто, хоть мелкий предприниматель, хоть...

– Я не бандит! – угадал он ее следующее слово.

– Да сама вижу! – сказала она.

Домой он поехал поздно, уже ночью, совершенно счастливым человеком. И ему, как какому-нибудь человеку девятнадцатого века, как про них писали наши классики, очень хотелось поделиться своим счастьем. Такого не должно быть, рвалось из него, такого не должно быть, чтобы в эту короткую ночь июня, в эти какие-то четыре или пять ночных часов, кто-то мог быть несчастлив, и если он в эти часы несчастлив, то ему надо немного потерпеть.

– Чуть-чуть потерпите все, кто сейчас несчастлив! – рвалось из него, и он готов был это говорить вслух, кричать в темные окна, зная, что нельзя, чтобы кто-то был в это время несчастлив. Он долго шел пешком. И в какой-то миг ему наскучило при своем счастье идти пешком, идти в одиночку, ни с кем не разделяя счастья. Он остановил частника. Тот оказался нерусским человеком. Иван, не раз бывавший на югах, определил, что он чеченец.

И в своем счастье, делясь своим счастьем, Иван вспомнил из того, что понахватал на югах чеченского.

– У меня нет денег! – сказал он по-чеченски первое, что взбрело.

– Нет, так нет! – нахмурился чеченец, а потом прибавил: – Нет, так нет. Такое мое счастье – ночью не спать, а возить людей бесплатно!

– Я могу поделиться счастьем, добрый человек! – сказал Иван, чувствуя, что говорит несусветную пошлость, но и, чувствуя, что не говорить он ее не может.

– Счастьем – это очень дорого! Я взял бы с удовольствием и больше не мотался бы на заработок по ночам! Но эту штуку надо искать самому! – сказал чеченец.

– Ты прав, добрый человек! – согласился Иван и не выдержал сказать по-чеченски о себе, что он счастливый человек: – Со тахана ирса стаг ву! – сказал Иван и спросил, правильно ли он сказал по-чеченски и не смешно ли это.

– Нет, не смешно! – сказал чеченец.

– Спасибо, что понял! – сказал Иван.

– Воевал? – спросил чеченец.

– Воевал! – сказал Иван.

– А я от войны уехал! Сразу же уехал! – сказал чеченец и вдруг сказал: – Если хочешь, заедем тут в одно кафе, посидим, поговорим! Наши кавказские люди содержат. Кальян, их музыка. Если хочешь, женщину, будет и женщина: армянка, турчанка, еврейка, русская – любая!

– А чеченка? – спросил Иван.

– Нет, чеченка нет! – сказал чеченец.

– Своих бережете, а чужих предлагаете! – сказал Иван.

Чеченец промолчал.

– Смертная песня! – вспомнил Иван слова Толстого о чеченских песнях.

– Что? – спросил чеченец.

– А знаете такого чеченского поэта? – Иван назвал фамилию.

– Нет, не знаю! – мотнул головой чеченец.

– Армянка, турчанка... Что? Значит, у всех есть джальяб? – спросил Иван.

– У всех! Это дело такое, интернациональное! – усмехнулся чеченец.

– И им всем тоже счастья! – сказал про джальяб щедрый от сегодняшнего счастья Иван.

– И им! – согласился чеченец.

## 8

Утром он позвонил и понял, что ей нездоровится. «Я добил!» – сказал он себе.

– Проводишь меня в больницу? – спросила она.

Он тотчас примчался.

– Только у меня своя больница. Не забоишься? – спросила она.

– Лепрозорий? – спросил он.

– Ну, что за дурак! – прижала она его ладони к щекам. – Больница для психов. Знаешь такую болезнь вээсдэ?

– Эсвэдэ – это самозарядная винтовка Драгунова! – сказал он.

– Вот, эта винтовка и есть моя болезнь, вегето-сосудистая дистония, вээсдэ! – сказала она.

– И что это? – спросил он.

– Это очень плохо! – сказала она.

– Ну, хорошо. Будем лечить! – сказал он.

– Это неизлечимо! – сказала она.

Он вздохнул, отвернулся и как бы в невозможности понять того, какого же черта она стоит да еще прижимает его ладони к своим щекам, коротко покачал головой.

– Так вперед! – показал он на дверь.

– Зайдешь со мной к доктору? Он тебе лучше расскажет. А у меня сил нет об этом говорить! – сказала она.

Доктор, мужчина, на взгляд, одних лет с Иваном, принял их так, будто знал, что Анна придет не одна.

– Вот тебе, Анечка, больничный. Что-то другое я тоже, как и ты, устал говорить. А вот вашему молодому человеку я все скажу, и про вашу лень, и про ваши капризы, и про ваше непослушанье, и про то, что вы не хотите от этой напасти избавиться, а от нее избавиться очень даже можно, я все скажу! – сказал доктор и повернулся к Ивану. – Она, конечно, вам сказала, что болезнь неизлечима!

Иван кивнул.

– А она излечима! Да это и не болезнь. Это пришедшая в патологическое состояние вегетативная нервная система. Вы хоть как-то знакомы с анатомией? – и после утвердительного кивка Ивана сказал дальше. – Самое важное при этом состоянии – положительные эмоции, присутствие рядом любимого человека и собственная воля. При этих лекарствах, – доктор улыбнулся при последнем слове, – уже можно успешно с этой напастью бороться. У Анечки не было ни первого, ни второго, ни третьего. Теперь, я полагаю, есть вы...

– Есть! – сказал Иван.

– Ну, вот и хорошо. Главное – позитив и собственная воля. Физкультура. Природа. У вас есть дача, домик в деревне? – доктор посмотрел на Ивана так, как будто был уверен, что есть у Ивана дача.

Иван, думая о даче Сереги, опять кивнул.

– Видите, Анечка, как хорошо все начинает у вас складываться! – блеснул глазами доктор. – Я вам даю больничный. А вы с молодым человеком немедленно поезжайте на дачу. Грядки, водные процедуры, лес, свежий воздух, чтение Толстого или Чехова, присутствие вашего любимого человека. И так целую неделю – да, Анечка? – и потом, оставив Ивана в кабинете, сказал, вернее даже попросил: – В сущности, ничего, но случай сложный из-за нее самой. Ленился и капризничает, упоает только на лекарства. Ваша задача ее переломить, заставить поверить в себя. А человек она очень хороший!

– Ну, так все-таки, что с этим ленивым, капризным, но очень хорошим человеком? – спросил Иван.

– Да ведь суть вот в чем. Нервная система, которая управляет всеми органами в человеке, дала сбой. Все органы в порядке. Но она управляет ими, как получится. Вот и все. Отсюда видимость, что все болит, что сердце колотится, что давление скачет, что голова трещит, что бессонница, паника и жуткий страх чего-то, чего понять невозможно, обмороки, боязнь людей и так далее. Но, повторяю, при этом все органы в порядке. Пока в порядке. Но долго выдерживать такое управление они не могут. И сама нервная система не может. Она сама истощается. Она постоянно на взводе, постоянно в стрессе. Снять этот стресс – вот задача. Тогда все придет в норму. Посмотрите в интернете. Там все об этом хорошо сказано. Но прежде всего, нужно, чтобы к этому приложила усилия сама Анечка. Она сейчас, как надломленная веточка. Надо ей помочь, надо ее заставить приложить усилия. И веточка зацветет. А без этого никакие лекарства не помогут. На вас надежда, молодой человек. И всегда, не стеснясь, заходите, помогите! А сейчас, видите, сколько у меня людей в коридоре!..

– И что он сказал? Сказал, что не хочу выздороветь? – спросила Анна.

Иван кивнул.

– А я назло ему теперь выздоровею! С тобой! – сказала Анна.

– Не назло, а для нас с тобой! – сказал Иван. – И я сейчас кое-что по работе сделаю. А завтра мы – на дачу. Это приказ!

– Есть, товарищ командир! – обняла его Анна.

9

Вероятно, из любопытства к затее Ивана прикикерилась, присмирела и выправились погода. А Анна, вопреки ей, сидела прибитая.

– Мы же договорились! Я сказал: «Приказ!» – Вы сказали: «Есть!» – привытарачился Иван.

– Я вчера у мамы была. Она сказала, что никакой дачи, и что она сначала хочет с тобой познакомиться! Она спросила, кто ты, а я сказала, не знаю! – сказала Анна.

– Приказы надо исполнять, товарищ Анна! Потому – едем. А оттуда в телефон обо всем с мамой договоришься. Приедем – и познакомимся с твоей мамой! – сказал Иван.

Очень не хотелось Ивану знакомиться с матерью Анны. Именно мать его бывшей жены некогда развела их. Очень ей не нравился Иван, по ее понятиям, никто иной, а только подлец и негодяй, ну, еще мерзавец, нисколько о жене, ее дочери, о семье, о доме не думающий, а неизвестно чем занимающийся и неизвестно где по целым месяцам попадающий и бесстыже заявляющий, что на работе, но что-то с такой его работы ни рубля не приносящий и даже из дому, как последний наркоман, как последняя сволочь, потащивший. «Лжет, лжет он тебе, Алисочка! – убеждала она дочь, жену Ивана. – Лжет! Он по грязным женщинам таскается, а ты ему веришь! Какие могут быть командировки по четыре месяца! Конечно, он лжет! Я звонила к нему на работу! Мне отвечали женщины! Конечно, они сказали, как он их научил! Они сказали, что он в служебной командировке, к телефону подойти не может, а они сказать, в какой он командировке, не имеют права! Это что? Это обыкновенная ложь, Алисочка!» – изо дня в день зундела она дочери, жене Ивана, и вызундела. Всплакнула дочь ее, жена Ивана, о своей несчастной доле, несчастнейшей из самых несчастных, собрала багажник и пошла из их комнаты в общежитии к маме. А денег он домой не носил, потому что денег не платили. И из дома он ничего не тасил – тащить-то было нечего, и не только у него одного, не только у них с женой ничего в доме не было. У всех не было. А если кто потащил, так только Алеха Сурков да и то потащил-то, когда уж совсем приперло, когда не на что было купить пузырек валерьянки для одного задуманного им хорошего дела во славу Родины. Он стащил у жены новые, подаренные им же самим на день восьмого марта красивые домашние тапочки с бомбончиками, снес их торговке и купил валерьянку. И на эту валерьянку на совместных соревнованиях с братьями из USA он этих братьев взял, хоть и с шероховатостями, но взял без шума и гама, без предусмотренных обычных бабах-трабабах. По условиям задачи, они

ехали на нашем «Урале», и их нужно было взять. Обычно это делают с подрывом «Урала», условным, конечно. А Леха придумал без подрыва, без шума, втихую. Он на валерьянку выманил на дорогу перед «Уралом» натасканного черного кота. Те, в «Урале», – по тормозам. Остальное, как говорится, было делом техники. Взяли их, братанов из USA, можно сказать, как недоумков. И даже потом наши, не говоря уж о братанах из USA, его пытали, просили научить, как он их взял. И это называется «из дома потащил»? Но жене, в общем-то хорошему человеку, стойко переносящему, как пишется в уставе, все тяготы и лишения, вдруг материнское зунденье капнуло куда надо. И она обозвала его всякими нехорошими словами, собрала свой багажик и ушла от него в какой-то такой злобе, что эта злоба перелестнула в нем всю боль от ее ухода.

Вот как было у Ивана с тещей, с мамой, так сказать, жены. И потом было так же еще с одной женщиной, которую он полюбил, и которая его полюбила. Но мама ей сказала «Нет! Только через мой труп!», И та женщина тоже ушла от Ивана. Сколько ее ни уговаривал Иван, она твердила свое, белугой редела и твердила свое: «Нет, нет, видно, не судьба! Я без мамы нет. Она проклянет меня!» Вот как снова было у Ивана. И за два раза подряд следовало оглядеться, следовало сменить позицию, если, конечно, нет желания получить в лобешник. Иван и сменил, ёк, сказал, нет, сказал, хватит. Но вот, оказалось, что ничего такого не сказал, а если и сказал, то солгал, оказалось не хватит.

Взглянул Иван на Анну, усмехнулся внутри себя на прошлое, взял собранную на дачу ее сумку, у дверей стоящую, и сказал «вперед!»

– Вперед! Все остальное потом! – сказал.

Хотя, какое оно «потом», когда одно и то же – в третий раз. Третий раз – это вилка. Третий раз – это именно в лобешник. И по Анне это видно. Так решил себе Иван.

И теперь он старался ее разговорить, и теперь она, как днями раньше сам он сидел в автобусе и глядел в окно, теперь она сидела и глядела в окно электрички, а он старался ее разговорить. А говорить он много не умел, и само его старание казалось ему неуместным. Более-то ему обыкновенно хотелось спросить Анну об ее разговоре с матерью, о том, что именно и как именно она матери сказала о нем, Иване, о встрече с доктором и совете доктора поехать на дачу, и вообще, говорила ли она об этом. И еще его донимали мысли, о предстоящем разговоре с матерью Анны. Он заранее знал, что разговор выйдет никаким, то есть ничем хорошим не обернется, а он, Иван, на этом поставит точку на всякую мечту, и без того уже совсем хилую, забытую и пустую, мечту как-то к старости лет устроить свою жизнь. Он не мог понять, отчего у него так в жизни складывается, что совсем, можно сказать, не складывается. Что нужно матерям – он не мог понять – что им нужно, что движет ими, когда они начинают зундеть дочерям об их мужьях как о подлецах, негодяях и мерзавцах, по их мнению, только для того рожденных, чтобы жениться на их дочерях и начать над ними изощренно издеваться. Много чего такого хотел бы понять Иван. И сейчас ему хотелось спросить Анну про ее

мать, про то, что Анна сказала матери про Ивана. Однако он видел, сколько Анне нехорошо, и ничего не спрашивал, а только неумело старался ее разговорить.

Так и приехали на станцию, так и пошли дальше пешком сначала мостом через пути, потом станционных улочками, потом вышли к березовой роще, довольно живописно разместившейся в буераках и будто хорошей изгородью отгородившей их от станционного шума. Березы были старые, толстые и кривые. Стояли они редко и как-то так редко, что казались в какой-то обиде отвернувшимися друг от друга. Иван показал Анне на березы. Она посмотрела вокруг и так же отрешенно, как в электричке, промолчала, а потом, видимо, спохватившись, сказала, что ничего она в том не понимает, что и в лесу-то она никогда не была.

– Плохо мне. Знобит меня и ломает. И мне жутко страшно. Не надо было никуда ехать. Надо было отлежаться дома! – еще сказала она.

– Доктор прописал дачу! – сказал Иван.

– Ему легко прописывать. Сам бы хоть раз испытал на себе! – сказала Анна.

– Потерпи. Со мной у тебя все будет хорошо. Мы же договорились. Я тебя не оставлю! – сказал он.

– У Чехова есть повесть «Жена». Вот я такой же тебе женой буду. Ни в чем твоим не буду участвовать. А твои самые добрые мысли и дела буду обращать в подлые, направленные только на то, чтобы унижить меня. Такой вот я буду тварью! – сказала она.

– Там они оба хороши. Он хорошая зануда. А она... – он недоговорил.

– А она тварь. И я такой же тварью буду! – перебила она.

– Однако и суждения у вас! – сказал он.

– Молчи! Если привез меня неизвестно, куда, молчи и не перечь! – сказала она.

– Истоплю баню, тебя попарю, и у тебя все поправится! – сказал он.

– Лучше меня, как тварь, выпори! – сказала она.

– И это можно! – сказал он.

– Господи! Хоть один мужик попался нормальный! – сказала она и сказала не то что-бы со злобой, но с каким-то нехорошим чувством, вызовом, что ли, с насмешкой над ним, над его придурочной верой посредством какой-то поездки на какую-то дачу вылечить ее.

Он сильно покраснел. Он сразу вспомнил их недавнюю размолвку в музее, потом вспомнил свое счастье, те нескончаемые и незамечаемые минуты молчаливого объятия в ее прихожей, вспомнил первые минуты знакомства, ее быстрый взгляд на него, когда деликатный Виктор не нашел ничего иного, как только прямо спросить об ее личной жизни, отчего стало очевидным его, Ивана, присутствие при них, при Анне и при Викторе, хотя очевидным это должно было стать сразу же, лишь она увидела их двоих. И еще вспомнилось всякого – и мать бывшей жены, и мать другой любимой его женщины, и сами они вспомнились, очень разные по сути, но очень одинаковые своей зависимостью от матерей, даже не от самих матерей, а от их зунденья.

Он не стал ничего говорить Анне. Она же явно ждала его слов, его реакции не на ее слова, а на ту злобу или насмешку – ей было виднее, на что именно. Он почувствовал, что она ждала

его реакции, но промолчал. Она остановилась. Он на нее обернулся. И в глазах ее он увидел пустоту. Ей ничего, оказывается, не было надо. Так он увидел. Сердце его быстро-быстро застучало, как стучало у голубей, когда в детстве ему доводилось их держать в руках. И он тотчас сказал себе, что с определением ее взгляда он ошибся – поспешил и ошибся. Он улыбнулся.

– Ты чего? – спросила она.

– Ничего! – сказал он.

И в самом деле, было ничего – не говорить же о показавшейся ему пустоте ее взгляда. Они прошли рощу, вернее, не рощу, а одиноко стоящие и будто отвернувшиеся друг от друга березы, и вышли к крутому берегу узкой и быстрой речки. С берега стала видна дача Сереги.

## 11

Действительно ли помогла дача, или приступ этой самозарядной винтовки Драгунова, то есть вээздэ, прошел сам собой, но была и баня, и был лес, и была работа в траншее, и был костер по вечерам, и спали они, можно сказать, под открытым небом, на галерее. И все, что было по дороге, забылось. Они были счастливы. Она говорила о своем счастье и в какой-то детской обиде восклицала, почему всего этого не было раньше, но обида тотчас проходила, оставался только детский ее восторженный голос, ее детское любопытство, ее желание всему научиться – и зажечь костер, и нарубить дров, и копать траншею, и узнать название цветка в лесу, как собственно, узнать и название деревьев. И с этим оставалась ее детская доверчивость к нему, детская враз поселившаяся вера в его всеисилие и всеумение.

Сил ее ни на что не хватало. Она уставала быстро. Он укладывал ее в постель, укрывал, садился рядом, отогревал ее холодеющие ладони и ступни, и смотрел, смотрел на нее с какой-то несмелой и счастливой улыбкой, пока она ему не говорила, чтобы он на время ее оставил одну, что она поспит. Он целовал ее и уходил в траншею или еще куда-нибудь по делу, но недалеко, чтобы можно было ее услышать. И она подолгу спокойно спала, а когда не спала, быстро звала его.

– Ну, почему ты не нашел меня раньше? Почему Виктор Иванович не догадался до этого? – в своем счастье спрашивала она и, не ожидая ответа, дальше спрашивала, зачем нужна была эта учеба на филологическом, если там всего этого не было, а была одна губительная мода на западную литературу, на психоанализ, на экзистенциализм, на что угодно, только не на русское удивление перед природой, не на русское чувствование ее, не на еще что-то такое русское, что сейчас в ней происходило.

А потом приехали Серега с женой и маленьким внуком и Костя без жены, сразу же объявивший причину одинокого его приезда.

– Пришла теща и сказала, что ей вдруг стали нужны в квартиру какие-то такие обои, от которых бы не только я, ее любимый зять, застрелился за курятником, но и сам Иуда повесился бы во второй раз! – сказал, увидел осуждающий взгляд жены Сереги и весело прибавил: – Шутка! Про курятник и Иуду шутка! Но они, правда, пошли по магазинам!

А жена Сереги нашла минуту и сказала Анне беречь Ивана, потому что он весь из себя этакий, то есть лучше не бывает, а потом еще нашла минуту и об Анне сказала Ивану.

– Не захотел мою подружку взять, при которой, как сыр в масле катался бы, вот теперь майся с ребенком да береги ее! – сказала она.

А маленький внук, по которому с первого взгляда можно было определить, каков в детстве был Серега, притащил Ивану свой экскаватор и сказал:

– Клякаля!

– Экскаватор! – перевел Иван.

Внук кивнул и выдал Ивану новую информацию.

– Клякаля коу! – сказал он.

– Экскаватор копает! – перевел Иван.

Внук опять кивнул.

– Он вот так копает! – загреб рукой Иван.

Внук что-то перевел в уме.

– Неть! – сказал он и пошел от Ивана.

– У тебя нет своих? – тихонько спросила Анна.

– Неть! – сказал Иван.

– А у нас будет? – спросила она.

– Будет! – сказал он.

Дальше пошли хлопоты по разным делам, по траншее, по бане, по грядкам, по приготовлению плова, мастером которого был Серега, по всему прочему, что составляет дача, и в вечер, в тихий вечер с длинным закатом и светлой узкой зарей на горизонте, со звереющими к ночи комарами, дальше под водочку пошли разговоры и воспоминания. И уже совсем ночью, в постели все на той же галерее, Анна спросила:

– А почему Сережа и Костя тебя называют товарищем полковником?

– Потому что я прапорщик! – сказал он.

– Ты военный, что ли? – спросила она.

– Военный пенсионер! – сказал он.

– А мне в первую встречу сказал, что любишь Камозэнса. Я подумала, какой-то кандидат наук! – сказала она.

– Не я, а мой бывший командир Костя Боборыкин любит Камозэнса! – сказал он.

– И ты воевал? – спросила она.

Он кивнул.

– И ранен был? – спросила она.

– Разве ты в бане не видела? – спросил он.

– Как же я увидела бы, если я боялась на тебя на голого глаза поднять! – сказала она и вспомнила встречу с чеченцами в городской библиотеке. – Ты там воевал? И это они тебя ранили? Говорят, они зверствовали над пленными!

– Нас учили выполнять задачу, а не зверствовать! – сказал он.

– И кем ты был? – спросила она.

- Снайпером, – сказал он.
- Какой ужас! И ты стрелял в людей? – вздрогнула она.
- Стрелял! – сказал он.
- Попадал? – спросила она.
- А для чего же я был бы нужен? – усмехнулся он.
- Какой ужас! – снова сказала она.
- Знаешь, я убил одного их поэта, то есть не поэта, а поэтессу. Она тоже был снайпер.

И она стал охотиться на меня. А я стал охотиться на нее. И я ее перетерпел, ну, у нее у первой терпения не хватило. И потом ее наши ребята вытащили. И в сумке у нее была наша, еще довоенная, газета с ее стихами! – сказал он.

- И теперь мучаешься? – спросила она.
- Нет. Просто помню! – сказал он.
- А как ее звали? – спросила она.
- Не помню! – сказал он.
- Значит, женщина по имени Эн! – сказала она.

Он промолчал.

– А я почувствовала, как ты весь напрягся при чеченцах! – сказала она.  
 – Нет, – сказал он. – Нас учили делать свою работу. Я ее делал. А напрягся я от этих двух, как ты сказала, поэтов. Стыдно за них стало!

– Это хорошо, что не мучаешься. Ты мне нужен! – счастливо сказала она, а потом спросила про Серегу и Костю. – А они кто? Они тоже прапорщики?

– Нет, они оба полковники! – сказал он.  
 – Ничего себе! И вы друзья! – удивилась она.  
 – Есть одна армейская присказка: «Бегущий полковник в мирное время вызывает недоумение, а в военное – панику!» Так вот у нас все были равны, что полковники, что прапора. Считалось, на мраморе всем места хватит! – сказал он.

– Но ты все равно главнее! – счастливо сказала она.

А Иван матери Анны сразу понравился. Она приняла его не совсем приветливо – да ему-то, в таком деле уже потертому, это, как говорится, было совсем ничто. А потом, за чаем, оказалось, что ее неприветливость, как и надо было ожидать, вышла обыкновенной настороженностью – прежние мужчины Анны к этому дали причину. Ей в Иване понравилось все. Она даже на Анну взглянула по-новому. И Иван это сразу увидел – увидел некое изумление, некое неверие, некий вопрос «неужели», некий вздох, затаенный, конечно, но некий вздох, какой неожиданно вырывается с приходом, казалось бы, напрочь утерянной надежды. Иван увидел, но, конечно, увиденному не очень поверил, вернее, поспешил не поверить, тоже, так сказать, проявил настороженность, вполне объяснимую и вполне нелишнюю. А Анна, когда остались одни, воссияла.

– Ну, ты ее навек покори! – счастливо сказала она.

– Не думаю! – в своей настороженности сказал он, но не смог выдержать характера. – Да дал бы Бог! – тоже счастливо сказал он.

– И что мы теперь будем делать? – зная его ответ, спросила она.

– Тебя любить и выходить замуж! – обнял он ее.

– Да я уже здоровее тебя! – взялась она высвободиться из его рук.

И было для них счастливое лето, в целом и по погоде хорошее, порой отчего-то такое же синее, какое было у Сереги на даче в день их первого свидания. Или Ивану так казалось, что оно порой вдруг начинало обретать глубокий синий цвет, будто хотело вернуть Ивана в юность – ее ведь, юность, как-то так принято считать, что она вся красивая и романтическая. А какой же цвет более всех романтический? Синеву не разбавило и то, что однажды к Анне на работу пришел тот художник. Он вернулся из Америки и предложил вернуть их отношения.

– Все, Анна! Наши отношения возвращаются! – сказал он.

– Нет, не возвращаются! У меня есть мужчина, и я его люблю! – сказала Анна.

– Мужчина? У тебя? И кто же он? Художник покруче меня? Так таких здесь не водится! – сказал он.

– Еще как водится! И больше не приходи! – сказала она.

И странно, ему этого хватило. Он сказал, что она пожалеет, да будет поздно. Ну, что же надо было ему сказать, крутому художнику, если не было под рукой гвоздодера.

И своего бывшего мужа Анна встретила.

– Цветешь! – кисло бросил он.

– Есть, кому ухаживать! – сказала она.

И лето было длинное хорошее, какого, кажется, у обоих никогда не было. Иван едва не наизусть выучил все, что касается болезни Анны, которую везде называли не болезнью, а патологическим состоянием вегетативной нервной системы или вегетососудистой дистонией, а сами они называли самозарядной винтовкой Драгунова. Он разыскал в Питере клинку, которая как раз занималась этой, так сказать, винтовкой и гарантировала практически полное излечение. Плата, правда, оказалась для Ивана неподъемной – откуда было взять столько отставному вояке, прапору-снайперу. Весь бизнес его, мелкое его предпринимательство, о котором ему стыдно было говорить, являло собой хилую охранную контору с охраной еще более хилых контор, которые чаще не платили, чем платили, и ему большую часть, так сказать, рабочего времени приходилось шарашиться по всяким налоговым инспекциям, по всяким судебным инстанциям, по судебным приставам, пожарным частям, санэпидстанциям и всем прочим, кто удавкой висел над его конторой и всеми подобными конторами, и больше платить, чем зарабатывать. И если бы не прапорщицкая его пенсия с надбавкой за боевые, то неизвестно, сколько бы его контора продержалась. Он решил продать контору и отвезти Анну в питерскую лечебницу, и начал продавать, но никто особо не соблазнялся, а в долг брать он не умел. Это-то только и омрачало лето, примешивало к синеве некий глухой оттенок.

Анна успокаивала его.

– Да перестань! – говорила она. – Ни в какую лечебницу я не поеду! Я и без того здоровее тебя! Видишь, я с тобой уже и по лесам хожу, и спортом занимаюсь. Видишь, я уже приседать умею. А в первый раз, помнишь, как присела, так и села!

Присела и не села – это еще был не спорт, и Анна ничуть не была здоровее, чем в день их знакомства. И приседала она, и бегала, и пыталась отжиматься на руках, и заниматься на турнике только при нем, да и то постоянно стремилась увильнуть, постоянно выговаривала себе поблажки, тащила его на диван или садилась играть ему на пианино. И в лес она ходила, скрепясь. И уставала там очень быстро, так что обратно приходилось ее нести едва не на руках. И приседала она с горем пополам пару раз. Отжиматься совсем не могла. А на турнике не могла даже просто висеть, так слабы были ее руки. Но все равно они в это лето чувствовали себя счастливыми – по крайней мере, так себя чувствовал он. Ему как-то по-дурацки верилось, что он ее вылечит.

А с осенью она раз-другой, а потом все чаще стала просить его остаться у себя дома, не приезжать к ней, что она несколько дней поживет у матери, которой живетя одиноко, потому что она, Анна, теперь все время отдает ему, Ивану, а о матери забывает.

– Конечно, конечно! – соглашался он, пока вдруг сердчишко его дурацкое не екнуло. – Эге! – сказал он и понял, что он подлинный дурак, хотя и при седине в бороде.

Он поехал к доктору, и тот выдал всю подноготную – у нее резкое ухудшение, совместный их фокус, так сказать, не удался.

– Ну, ничего еще не потеряно! Вы делали все правильно. Видно ведь, как она похорошела. Но что-то ее гнетет! Давайте искать причину! – сказал доктор.

Иван опять забегал с продажей конторы, потом плюнул и пошел в банк за кредитом, из банка припорол на квартиру матери Анны и услышал из дальней комнаты:

– Мама! Скажи, чтобы он ушел!

– Ванечка! Потом, потом, пожалуйста, потом! – стала просить его уйти мать Анны.

А дальше случилось очень даже быстро. Он дождался, когда она была дома. Она открыла дверь, молча взглянула на него и молча спятилась на кухню.

– Анечка! – сказал он.

Ее будто скрутило.

– Ты же видишь! – едва не в животном ужасе закричала она. – Ты же видишь! Уходи! Ты же видишь, что с тобой мне только хуже! Уйди же, наконец! С тобой я чувствую себя тварью! Ты здоровый, сильный и очень чистый человек! Ты мужик! И этим ты убиваешь меня! А я жить хочу! Как тварь, как растение, больная, никакая, но я жить хочу, жить не в твоём мире, а в своем, жить без всяких чувств, без ухаживаний, без твоих стараний! Ты видишь! Ты убиваешь меня! Уйди же ты, убийца! Как еще мне тебя назвать, чтобы ты ушел!

А она, конечно, ничего не понял. То есть он понял, что ей очень плохо, но не понял, почему она на него так кричит, почему называет его убийцей.

– Анечка! – еще сказал он.

– Уйди, тебе говорят! Уйди! Ты можешь понять это слово? Уйди, убийца! Тебе мало, что ты убил ту несчастную женщину, так ты хочешь еще убить меня! Ты даже не понимаешь, что ты убил поэта! Поднял руку на женщину! Все вы мужики – твари! – не слыша его, продолжала кричать она.

– Какого поэта? – спросил он.

Ему почему-то сразу вспомнился поэт со своей женой в библиотеке в начале лета. И он тем более не мог понять, почему он вдруг стал убийцей да еще убийцей поэта.

– А тебе надо, чтобы ты убил известного на весь мир поэта? Может быть, ты хотел бы расстрелять Мандельштама? Может, ты хотел бы расстрелять Гарсиа Лорку? Кого еще? Еще кого хотел бы ты расстрелять? Ты же неудачник! Ты даже полковником не смог стать! – вся перекручиваясь от сильного возбуждения, кричала она.

Он понял, что надо бы ему сейчас хорошо дать ей по мордасам, то есть не по мордасам, какие тут у нее были мордасы, у нее было хоть и искаженное и едва ли не перекрученное то ли от возбуждения, то ли от боли и страдания, но лицо и даже не лицо, а родное личико. Но нужно было дать ей пощечину, как обычно давали молодым-зеленым-необстрелянным в первом бою там, на югах. Но он, конечно, не мог дать ей пощечину. Он хотел ее обнять и положить в постель. И только он сдвинулся к ней, она схватила нож.

– Убью! – закричала она.

Ему ничего не стоило нож у нее отнять. Но он остановился. Он показал ей рукой, что не тронет. Он стал ее уговаривать. Он стал мямлить нечто из того, мол, Анечка, успокойся, Анечка, все будет хорошо, только ты успокойся, давай вызовем скорую, и так далее. Он стал мямлить, что совсем все было не так, он не убивал никакого поэта, это же был бой, снайперский бой, то есть обыкновенный поединок, в котором кто кого перетерпит, кто кого упредит. И еще что-то стал мямлить. И что ж, что он не полковник, стал он мямлить. Он хороший снайпер, а хорошие снайперы полковниками не становятся, стал он мямлить. И сам он понимал, что мямлит, что не надо мямлить. Но вот что еще может мужик, если любит? И все стало походить на то, как было у него с женой, потом с другой любимой женщиной, и даже стало походить на то, как все было в рассказе Чехова «Жена». Он мямлил, а она кричала. Он мямлил, а она кричала. И было в этом что-то механическое, что-то такое, как если бы завели какой-то механизм и захотели остановить, а он не останавливается.

И чтобы остановить этот механизм, он наконец догадался уйти. Он ушел. И потом приходил к ней в больницу. Санитарки говорили ей, Анечка, какой видный у вас жених, а она некрасивая, никакая, неживая, смотрела мимо него, не в силах сказать ему, чтобы он ушел, вообще ушел.

Он разговаривал с ее доктором, он звонил ее матери. Он звонил в Питерскую клинику. Все говорили, куда же ее срывать в таком состоянии, пусть кризис пройдет, пусть сначала выйдет из больницы.

Она вышла из больницы и сказала ему то же самое.

– Уйди, умоляю тебя! Уйди! Дай мне жить! Я не люблю тебя! Не лю-блю! – вяло, но как-то так, что будто плюнула, сказала она.

Он ушел. Он сказал себе, что придет снова и снова, что все перетерпит и дождетя, когда ей станет лучше. А сейчас он ушел. И, как в ту ночь, когда ушел от нее счастливый, пошел сначала пешком.

Мокрый снег лепился в глаза, а летящие мимо машины лепили грязью. Все встречные-поперечные, все догоняющие-обгоняющие спешили спрятаться в тепло. Только Иван никуда не спешил. Он шел и думал, что он дождетя. Но рядом с ним шла мысль о том, что от лобешника, от пули, которой не ждешь, никуда не спрячешься и выстрела по себе не услышишь.

– Никуда! – думал он.

А оно и вышло, что никуда – имеется в виду, никуда не спрячешься. Его вдруг кто-то остановил. Он поднял глаза и сразу узнал поэта из библиотеки, когда приезжали чеченцы.

– А я вас сразу узнал! Память поэта! Вы же в библиотеке были на нашей встрече! – приветливо сказал поэт.

Иван неопределенно пожал плечами, полагая этот жест достаточным, чтобы пройти дальше.

– Нет, вот вы послушайте! Вот, вот чье это? Он продекламировал пару длинных строк про какую-то полночь в Москве и какое-то роскошное буддийское лето.

Иван хотел молча пройти. Поэт остановил за рукав.

– Да не пытайтесь отгадать! Это их Мандельштам! А вот послушайте, как у меня!..

– Иди своей дорогой, добрый человек! – бессильно озлобился на хватание за рукав и вообще на все озлобился Иван.

– Да вы послушайте! Помните, как тогда, в библиотеке, чеченцы взяли мою книгу! Они ее переведут! Они меня читать будут всем народом, как Коран! – сказал поэт.

– Кхонаха! – по-чеченски похвалил Иван.

–Что? – спросил поэт.

– Ничего! – сказал Иван и в продолжение своей мысли о лобешнике прибавил: – Никуда! – то есть, никуда не спрячешься.

– Что, никуда? – спросил поэт.

– Вот сюда! – показал Иван себе в серединку лба.

Так, ничего, то есть никуда, то есть ничем, все обернулось Ивану. Ведь от лобешника, от пули, которой не ждешь, никуда не спрячешься и выстрела по себе не услышишь. Про выстрел по себе – это так, между прочим. И больше Иван не видел Анну. И как она жила, свою ли жизнью, чужой ли, он не знал. А там он перетерпел. Если бы не перетерпел – говорить было бы не о чем. Тогда бы он, тот поэт, ну, та поэтесса, можно сказать, женщина Эн продолжила бы писать стихи.